

Георгий Панкратов

Я хочу проснуться...

Два эссе

У меня было два «параллельных» детства: с рождения и вплоть до старших классов школы большую часть времени я проводил в Севастополе (о нем — в отдельном эссе), но немалую — в Санкт-Петербурге.

Мыши в банке

Я замирал перед экраном.

— Послушайте этого парня, — говорил уважаемый телеведущий. Этой программы мы с родителями ждали несколько месяцев: главный канал страны, лучшая телепередача, передача-эталон, и в ней через какие-то секунды должны были показать меня! — который так все понимает и простым языком говорит.

Нас снимали весь день. Жильцов специально просили не выходить из дому, в особенности Илью, василеостровского дурачка лет двадцати пяти. Съёмка была на коммунальной кухне на фоне сдвинутых столов и расставленных вдоль длинной стены одинаковых газовых плит. Человек с камерой входил и медленно шел, снимая всех жителей, а нас было много, и останавливаясь на каждом. У меня, восьмилетнего ребенка, брал интервью лучший ведущий страны — Владимир Молчанов. Его очень интересовало почему-то, что я думаю о жизни в этой коммуналке, о своей детской жизни с родителями и о жизни России в целом. Странное интервью длилось долго и снималось в несколько дублей. Говорил Молчанов и с остальными жильцами.

Но вот, когда я затаил дыхание и уставился в экран, на нем возник черный занавес, за которым открывалась странная студия, посреди которой на стуле сидел бородатый мужчина в очках и с гитарой. Он запел хриплым голосом песню «Чёрный пёс Петербург», и внутри меня все упало. Целый съёмочный день в нашей огромной, двадцатипятикомнатной коммунальной квартире на Васильевском острове обернулся тем самым кадром на кухне, где все, застыв, стоят перед столами, как будто их фотографируют. Кадр длился несколько секунд и вряд ли представлял не только художественную, но вообще хотя бы какую-нибудь ценность.

Панкратов Георгий Витальевич родился в Ленинграде в 1984 году. Окончил гуманитарный факультет СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Урал» и др. Автор книг «Российское время» (СПб., 2019), «Мечта о прекрасном, несбыточном» (М., 2020). Проживает в Севастополе и Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 3.

Шевчука я слушать не стал: *мой* Петербург никогда не был черным псом, это сравнение наводило и до сих пор, с той самой картинкой из детства, наводит на меня оторопь. Да и вообще, я жил еще в Ленинграде, как, думаю, и вся наша коммуналка. Которая так и осталась в Ленинграде: и сейчас, проходя по Большому проспекту, я вижу на окнах пожелтевшие буквы SALE. Квартиру расселили ближе к концу девяностых, а найти новых обитателей оказалось не так уж просто.

Программа «До и после полуночи» с тем просмотром закончилась для меня навсегда. А вот другую, «600 секунд» Невзорова, я, наоборот, полюбил. Конечно, никто не хотел увидеть съемочную бригаду в нашей квартире из-за специфики передачи, но едва она начиналась, шумные кухня, длинный коридор и даже вечно занятые туалеты — пустели. Мне кажется, так происходило во многих квартирах. Программу «600 секунд» любили. Наверное, за то, что она показывала, что где-то есть жизнь еще страшнее.

Вдохновленный телепередачей, я рисовал босые ступни ног, выглядывающие с лестничного пролета: мне казалась ошеломительной операторская съемка с нижних ступеней, постепенно приближающаяся камера, открывающая, наконец, пытливому взгляду зрителя свежееиспеченного мертвеца, павшего в какой-то низшего уровня бандитской разборке. Говорят, Невзоров удивлял всю Европу, делая предсмертные интервью: совал микрофон под нос хрипящему бандиту с вывороченными кишками, и тот умирал, как бы сейчас сказали, онлайн. Не знаю, не видел. Быть может, меня уберegli от этих кадров заботливые родители, переключая на «Спокойной ночи, малыши» с разрекламированного советского фильма ужасов «Люми».

В его рекламе воплощался весь страх советского человека, потерявшего Родину и ориентиры в ирреальном пространстве: горящий то ли автомобиль, то ли танк, за давностью лет не помню, вываливался из телевизора прямо в комнату сидящих перед экраном обывателей. Реклама фильма хорошо иллюстрировала состояние самих обывателей: в их размеренный, добрый, уютный мир врывались демоны. За демонов отвечал и Невзоров, и со своим «Чёрным псом» Шевчук. От добрых Хрюши со Степашей, как и от интеллигентного ленинградского Хохи с головой-дырявым башмаком, предложенных родителями как альтернатива аду, я уже воротил нос.

Имел, что называется, право. К своим семи несмышленым годам я уже снялся в подобном «Люми». Советский интеллектуальный фильм «Третья планета» не претендовал на звание триллера, он отсылал к Тарковскому и Стругацким, а потому так и остался на полках «Ленфильма». Впоследствии режиссер Рогожкин и сам осознал ошибку. Перестал снимать интеллектуальщину, и в его карьере сразу началась золотая эра — «Особенности национальной охоты, рыбалки и чего-то там ещё» принесли ему всероссийскую славу. Мне же оставалось сожалеть, что, приглашенный на съемки следующего фильма, отказал режиссеру в категорической форме. Всему виной были комары в лесу под Ленинградом, где снимали один из эпизодов. Сколько ни пытался режиссер Рогожкин убедить меня, что кинематограф — это не только комары, я был непреклонен: взял родителей за руки, гордо отправился домой. Благодаря чему и пишу сейчас свои повести и рассказы, а не раздаю интервью журналам для киноманов. Вроде «Сеанса» — валялся у нас дома такой. Внутри него был постер, хотя слова этого еще не знали, с изображением плачущей Ани, главной героини фильма, и меня, который ее утешает. По сюжету Аня должна была орать нечеловеческим голосом и, утешая, я ненавидел ее и боялся.

Режиссер потешался над нами как мог. То исполнителю главной роли, мужчине за пятьдесят, не скажет про труп, настоящий, из морга, расчлененный и аккуратно упакованный в пакет, то скроет от меня, что если кинуть в кусты камень, раздастся неслабый взрыв. Чтобы быстрее бежал. Снимал он и двухголовых уродов, и натуральных психов для массовки, изображающих — осознанно ли? — зомби. Кино начала девяностых — это страх и ненависть, еще раз страх, и еще раз ненависть, но

не в Лас-Вегасе, а в городе Приморске Ленинградской области, где снимались эпизоды и где жил огромный паук размером с мою детскую голову и ходил единственный автобус под номером «18».

Попасть в кино, что интересно, в те годы было очень просто: мы шли с родителями к станции «Гостиный двор», и нас окликнула женщина. Сказала, что ищет ребенка для роли в фильме, и предложила проехать до «Ленфильма». Мы думали, шутка. Думали, хочет время спросить.

Для того, чтобы спросить время, существовал специальный телефон: в Ленинграде, например, — 08. Позвонив по нему, можно было услышать механический голос, который говорил, как роботы в фильме «Гостя из будущего»: точное время столько-то часов, минут и секунд. Будучи ребенком, а все дети счастливы и, как известно, часов не наблюдают, я долгое время не подозревал о существовании такой услуги. Пока родители не попросили узнать время, а я, перепутав, прокрутил на дисковом телефоне девятку вместо восьмерки. Ничего не подозревая, спросил у девушки, которая взяла трубку:

— Извините, а вы не подскажете, который час?

То-то было смеху у родителей!

Но когда на пятки, а затем и на глотку старому времени наступило новое, цифр после нуля стало резко не хватать. Любая захудалая, только вылупившаяся из своего кооперативного антисоветского яйца фирмочка мечтала иметь телефон на 0, но прежде всех появились 009 и 058. Первый отдали новой справочной, вроде 09, но только на коммерческой основе, и операторам старой службы стало гораздо проще работать. Все, что от них теперь требовалось, это повторять заученную фразу: «Мы не располагаем такой информацией, но можем переключить на коммерческую службу 009». На 058 девушки были куда разговорчивее, что объяснялось характером их услуг. Это был первый в городе сервис «интим по телефону». Меня и маленького Артёма — кроме нас детей в огромной коммуналке не было — завораживали обнаженные красавицы, рекламировавшие эти три цифры: «Позвони мне», «Жду тебя», «Пошалим». Среди соседей ходили слухи, что примерные отцы семейств просаживали целые состояния в разговорах по страшному номеру. О чем говорить с красавицами мы, дети, совершенно не представляли. Нам просто хотелось их услышать, убедиться, что они существуют, узнать, как звучит их голос, только-то и всего. Но в трубке раздавался сухой ответ, как будто мы звонили в 09, а то и 08. Даже в 009 голоса были живее, теплее и эротичнее. Мы набирали номер снова и снова и, услышав голос, бросали трубку, пока однажды не узнали, что оплата насчитывается не за сам взрослый разговор, а за то время, что ты на линии, начиная с первой секунды. Красавицы из 058 сами позвонили, не выдержав, в нашу квартиру, и объяснили родителям, что больше не стоит их беспокоить. Почему-то они не сказали, кого беспокоить, собственно, и мама единственный раз побывала в самой дальней комнате коммуналки, напротив ванной, где изредка появлялся начинающий постсоветский бизнесмен Лёва.

— Куда они могли звонить? — интересовалась мама. Мы, разумеется, не признавались.

— Не знаю, — отвечал он. — Надеюсь, не в Большой дом.

Помню, мама аж ахнула и отчего-то испугалась. А мне показалось, что под Большим домом они подразумевают публичный. Настолько, видимо, боялся, что нашу «шалость» раскроют и как они близки к разгадке. И в этот момент мне стало стыдно.

Услуга 058 рекламировалась в газетах «Калейдоскоп» и «Не скучай» — пионерах ленинградской бульварной прессы. Если не ошибаюсь, они существуют до сих пор. Помимо эротических рубрик — эти статьи почему-то считались главными и часто выносились на обложку — журнал публиковал все, что могло заинтересовать простого советского обывателя, вырвавшегося из темного небытия в мир свободной

информации. Здесь и дамские советы, и интервью с популярными музыкантами, и рубрика про невероятное-очевидное, и дачный уголок, и плотно уже вошедший в жизнь этого самого обывателя криминал. В журнале публиковали просто фантастические материалы, запредельность которых поражала меня, ребенка, не знающего, чем занять себя в туалете, и потому взявшему за правило прихватывать с собой «Калейдоскоп». Так, в одной статье рассказывалось, что известный выстрел «Авроры», случился по причине того, что матрос, решивший прочистить орудие, случайно сел в лужу муравьиной кислоты. Муравьи разъедают крейсер «Аврора», предупреждали журналисты «Калейдоскопа» ленинградского обывателя, и скоро от него совсем ничего не останется. Однажды я прочитал историю, на некоторое время изменившую мою жизнь: оказывается, в канализационной системе Ленинграда жили жабы-мутанты. Рассказчик на условиях анонимности поделился с «Калейдоскопом» тем, что как-то раз, когда он присел по естественной надобности, такая жаба выскочила прямо из недр унитаза и схватила его за яйца. Случай нельзя назвать уникальным, утверждали журналисты издания, скорее он демонстрирует возрастающую тенденцию. Так «Калейдоскоп» потерял одного читателя: я стал ходить в туалет настолько быстро, что уже не брал с собой газету.

Но, повзрослев, я, конечно же, забыл ту страшную публикацию и никак не мог предположить, что спустя много лет она напомнит о себе. Тем не менее это случилось, причем весьма неожиданно — на занятиях по истории СМИ в университете. Преподаватель, молодящийся мужчина в возрасте, рассказал, что в начале девяностых, когда у интеллигентных людей было плохо с работой, он, как и некоторые его знакомые, подрабатывал в дешевых бульварных изданиях выдумыванием бредовых заметок. За них относительно неплохо платили, а отнимали они совсем немного времени. Ну, и в качестве примера, смеясь, привел ту публикацию о жабах-мутантах. Я почувствовал себя глупо, хотя как знать, сколько еще ленинградцев под впечатлением от той публикации ускорили свое пребывание в туалетах? Скольких еще он лишил размеренного сортирного чтения? Властитель дум!

Впрочем, и время наступало такое: рассиживаться в сортире было непозволительно. Чтобы жить, как любили тогда повторять все вокруг, нужно было вертеться. Дед работал на «Ленфильме» и по совместительству водителем на маленьком грузовичке, бабушка — на заводе. С приходом нового времени там начали производить кетчуп; она произносила это с горечью, пытаясь сопоставить вроде несопоставимые слова: завод, двигатели, кетчуп. Отец ходил в море из Севастополя. А я мечтал стать журналистом, вдохновленный молчановской командой. Я записал на магнитофон звук смыва сливной бачка и сделал заставкой своей авторской радиопередачи. Ходил по квартире и брал интервью, довольно быстро надоев жильцам. В квартире оказалось всего две комнаты, репортаж из которых не получился. Секретная угловая комната, должно быть, с самым красивым видом из окна, на которой было написано «Виноградовы»; здесь никогда не появлялись жильцы. Отказалась идти на контакт и полубезумная старуха, подливавшая испражнения соседям в суп или демонстративно выливавшая их в ванную. Но я и не рассчитывал, что старуха ответит на мои прямые вопросы.

Из кухни был выход по темной лестнице в странное помещение, где сушили белье. Жильцы называли его в шутку бельэтаж; огромная комната с бесчисленными веревками, протянутыми под потолком, освещалась тусклой лампочкой и маленьким окном с видом на двор-колодец. Всякий раз, когда заглядывал в него, мне становилось не по себе. Я спрашивал: а зачем они придуманы, эти дворы-колодцы, в которые невозможно попасть, разве что из окна первого этажа? И никто из взрослых не находил ответа. Как, впрочем, на многие детские «зачем». Спустя много лет я прочитал статью о том, как вырастают дети в маленьких ленинградских комнатах, ежедневно глядя в

черное нутро двора-колодца; какой неизгладимый отпечаток на них это накладывает. И понял, что счастлив хотя бы оттого, что у меня такого не было.

Была у нас кладовка; в огромной коммуналке, где все уже изучено и от всего порядком тошнит, поход туда был настоящим приключением. В кладовке хранились вещи жильцов: пыльные старые книги, удивительные лампы, шкафы, видимо, заставшие девятнадцатое столетие, тетради с записями, наборы старинной посуды, потрепанная одежда и прочий банальный хлам.

Пока дед копался в своем шкафу, я от нечего делать пересматривал большие красочные журналы «Огонёк». Вот серия рисунков, на которых изображено бесформенное красное существо с глазами. Называлось оно «даблоид»: солдат и даблоид, еще кто-то и даблоид. Картинки меня веселили. Вот черно-красная страница со стихами Гумилёва:

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой шели,
Утонувшей в густом плюше.

Почему-то мне казалось, что он имел в виду что-то вроде нашей коммуналки.

На одной странице я увидел черно-белую картинку: на трибуне с микрофоном выступал отвратительный человек, урод, и он плевался в окружающих; внизу виднелись лысые отвратительные головы. Плевки были прорисованы старательно, и у читателя не должно было оставаться сомнения: их хватит на всех. Юмор же заключался в подписи к картинке: «Плюрализм мнений». На момент выхода журнала это было, видимо, новое популярное слово. Очевидно, высмеивались какие-то конкретные люди на определенном историческом отрезке; те люди уже ушли, да и отрезок кончился. Дед уже ушел по своим делам, а я все стоял в пыльной кладовке, куда едва пробивался свет, и смотрел, замороженный.

Нашу огромную комнату с высоченными потолками дед сделал двухэтажной, здесь были и прихожая, и маленькая кухня, и деревянная лестница, ведущая в спальню под потолком. Оттуда было интересно наблюдать за взрослыми, которые сидели возле телевизора по вечерам или занимались обыкновенными делами. На тумбочке возле моей кровати всегда стояли любимые игрушки, и они были, как мне теперь кажется, типично ленинградскими: трамвай, заботливо склеенный из деталей, и метрополитен. Это звучит удивительно, да я и сам удивляюсь сейчас, вспоминая его, и сожалею, что он не сохранился. Метрополитен представлял собою механизм с тремя застекленными окошками-станциями. Нажатием кнопки можно было запустить поезд, его же останавливать, когда тот прибывал на станцию. Желающим беспредельничать можно было не останавливать поезд, заставляя его проезжать все три станции до бесконечности. Игрушка была незатейливой, но чем-то притягивала, не давая оторваться. Я играл в нее много времени, и всякий раз с удовольствием.

Взрослые поднимались на второй этаж только перед сном, чтобы сразу лечь. Лишь однажды его использовали не по прямому назначению — в памятном 1993 году. В один из дней в квартире начался переполох, все кричали, что нужно прятаться: по Большому проспекту идут танки, и скоро начнется война. В квартире зашторили окна, погасили свет, мне говорили, что нужно лечь на пол верхнего этажа и, затаив дыхание, лежать там. Я лежал в обнимку с метрополитеном, пока не надоело. Почему-то я был убежден, что никакой войны не будет, что она не может просто взять и начаться, к ней нужны приготовления. И не понимал, что это они и есть.

А вечером все о войне забыли. Бабушка рассказывала сон: будто бы мы на даче, я принес воды из родника, гуляю, ем клубнику, она накопала картошки и отдыхает возле крыльца, рядом дедушка пилит доски. На этом рассказ прервался, и я нетерпеливо дергал ее:

— А дальше? Что дальше? История-то где?

Но бабушка объясняла, что это всё. Истории никакой не будет. В ее снах все было мирно, привычная обстановка и родные люди рядом — вот составляющие ее идиллии. Историй ей было не нужно.

А тем временем вся наша жизнь становилась историей. Трамваи ходили редко, и до Садовой приходилось идти пешком, летом это была приятная прогулка. На Садовой находился обменный центр: бабушка хотела распрощаться с комнатой и получить квартиру в новостройках. Она приходила в скучное здание, где были расставлены друг за другом длинные столы и люди перебирали карточки, что-то выписывая. Бабушка проводила там долгие часы, а я слонялся от безделья по этажам. Мне было совершенно непонятно, чем она там занимается, в чем смысл просиживать в этом здании драгоценные дни, когда можно проводить их куда интереснее. Гулять в Юсуповском парке, сидеть на маленьком островке, окруженном водой, и кормить уток; что могло быть прекраснее кормления уток свежим батоном? Но бабушка упрямылась: она тащила меня за руку в обменный центр. «Чтобы нам было лучше жить», — коротко объясняла она и погружалась в бумаги. Я брал в руки газету, такую же скучную, как весь этот центр, как бабушкино занятие, как и вся моя жизнь в те часы, и читал по слогам: «Со-бач-ка-о-бе-ща-ет». Окружающие почему-то смеялись.

— Гражданка, правильно ваш мальчик мыслит, — обращались к бабушке веселые мужчины, и та, наконец, замечала меня.

— Собчак, а никакая не собачка. Где ты увидел собачку? — спрашивала она.

Для меня было труднопроизносимым слово «Собчак», мне не давалось понимание его смысла. Я уходил блуждать по коридорам скучного здания. Однажды заметил на подоконнике трехлитровую банку, в которой барахталась мышь — настоящая, серая, крупная. Она судорожно перебирала лапами, пытаясь удержаться на плаву. Вокруг странного зрелища собрались люди. Один, словно организатор представления, наклонился над банкой, заглядывал в нее, крутил, поворачивал.

— Мышь поймали, — отвечал он на немые вопросы со странной гордостью в голосе.

— И что теперь?

— Ей надоест, и она утонет, — пожимал плечами человек.

— Отпустите ее, — сказал я, и народ зашептался. Кто-то поддержал идею, кто-то нет. Мнения разделились.

— Ты смеешься, что ли? — сказал человек. — У нас и так полон дом мышей. Скоро на голову прыгать будут. Теперь их не травит никто, сами справляемся.

— Ну, а почему таким-то способом? — робко спросил кто-то.

— Так это... — замялся человек. — А каким еще?

Я отошел от них: делать среди этой публики было нечего. Они смотрели, как барахтается мышь, и, когда надоедало, расходились. Вода — не сметана, из нее, как в известной сказке, масла не взобьешь. Итог мышиных стараний был предрешен. В каком-то смысле и мы, ленинградцы, оказались в положении той мыши: новое время заключило нас, простых обитателей легендарных василеостровских коммуналок, в банку и наполнило ее водой.

Но мне было еще слишком рано унывать. Мы с дедом и бабушкой брали корзинки, садились на трамвай «шестерку» и ехали на Финляндский вокзал. Там привычно покупали «Сникерс» или «Баунти», газетенку «Не скучай» или какое-нибудь дешевое чтиво в дорогу, сенсационно разоблачающее коммунизм; этим были завалены все прилавки, а что не умещалось на них, разносилось активными и нацеленными на успешные продажи менеджерами по вагонам: «Вниманию уважаемых пассажиров!» Мы ехали под Выборг, на дачу.

Впереди были прогулки за грибами в лес, купание в озере, уютные вечера вдали от большого города. Наступали выходные.

Молча слушаешь транзистор

Мой дом носил номер 13. Дом был в самом центре Севастополя, на центральном холме.

Дом двухэтажный: на первом этаже размещались две огромные квартиры в шесть или семь комнат, имевшие выходы как на улицу, так и во двор. На втором были две квартиры — одно- и двухкомнатная, с балконами. Балконы и окно комнаты имели вид арки, скруглялись наверху. Потолки были высокие.

Кухня выходила во двор, вернее, на крышу с трубой. Под крышей продолжалась длинная квартира соседней снизу, из нее был виден уголок двора: квартира № 5. Она располагалась в отдельном доме из пары комнат, но почему-то числилась под «нашим» номером. Пятая квартира была недружелюбна: с ее жителями никто не общался, да и сложно было понять, кто там жил. Для остальных жильцов дома я какое-то время делал рукописную газету «Дом 13 и другие». Жительнице квартиры напротив нравилось.

По крыше бегал наш кот Тимофей, грелся на солнце, затем стал уходить все дальше, пока один псих не перебил ему лопатой хвост. Отлежавшись, Тим ушел, чтобы пропасть уже насовсем.

Войти во двор можно было, открыв калитку, — она закрывалась «туго» и «не очень», я любил выбирать первый режим, что бесило соседей. Рядом с калиткой росло вишневое дерево, за ней — абрикосовое. Едва слышав скрип, заливалась лаем соседская собака Агата. Дверь во двор у соседней снизу — из их кухни — всегда была открыта, и, идя в школу и обратно, я вдыхал ароматы борщей, жареной картошки, мяса... Во дворе росли цветы и полезные овощи, лопались алые помидоры, зрели огурцы.

За соседней дверью был вход в наш подъезд — на две квартиры второго этажа. Вечером над ней зажигали лампу. В углу сидели пауки, застывшие в паутинах, — они казались мне страшными, ведь я был маленький, десяти лет. На втором этаже, развернувшись, можно было увидеть широкое окно с треснувшими грязными стеклами — за ним никто не ухаживал из-за труднодоступности. В окно виднелась стена напротив дома — следующая улица шла выше, и оттуда, с высоты, проглядывался наш двор. Впрочем, там была какая-то закрытая территория. По стене ползли улитки и ящерицы.

Выйдя на балкон, я неспешно обзирал улицу — по ней мало кто ходил, домов напротив не было, только узкая дорожка с толстой трубой, вдоль которой росли орехи и несъедобные ягоды, дальше — такой же обрыв. Там — главная улица Севастополя. Засыпая, я видел фонарь напротив большого арочного окна, слышал стрекот насекомых, видел черные звезды вдалеке. Ни машин, ни дворового шума, ни дорожных работ, ни пьянства. Тихо, безмятежно, прекрасно тихо.

На улице были мастерские художников, здание Союзпечати, которое я излазил вдоль и поперек, задние дворы Главпочтамта, местного кинотеатра и грузовой лифт кафе. Несколько жилых домов, в одном — бородатый старый художник, любитель котов, в другом — пожилая пара: еврейская бойкая бабушка и ничего не понимавший, вечно с открытым беззубым ртом дед, в третьем — приятель Денис, мальчик моего возраста, в четвертом — возрастные дебилы, вяло пытавшиеся то дружить с нами, то пугать, в пятом — кот Петроний, победитель международной кошачьей выставки, про него телевидение приезжало делать сюжет...

Улицу пронизывали лестницы, вдоль которых тоже встречались дома — мы лезли туда за терпкой шелковицей. Пять минут вверх — и ты на главной смотровой площадке, где лучше всего видно все городские салюты. Пять минут вниз — и ты у моря, в Артиллерийской бухте, слушаешь плеск волн. Магазины «Золотой Ключик»,

«Черноморочка», «Источник», «Огонёк», «Мелодия», молочный, хлебулочный, кафе «Снежинка», что там еще?..

Дом снимали в позднесоветском или ранне-постсоветском фильме «Прощение», но, к сожалению, в кадр попали лишь маленькая незначительная его часть и кусок улицы.

Именно тогда была на пике популярности песня Варум «Городок», и именно с нашим домом ассоциировали ее все, кто жил в нем. Там было не так, как в песне, но в принципе близко к этому. Сложно слушать эту песню сейчас.

Есть и другие песни, которые навсегда привязаны в моем сознании к жизни в этом доме, его атмосфере, и которые я до сих пор не могу воспринимать отдельно от него — например, Евгения Осина.

Я смотрю на картину Вячеслава Забелина «Тёплый вечер» — точно так же выглядели и арка, и калитка. Сейчас моего дома нет. Его давно выкупили, дав родителям взамен квартиру, и неплохую вроде, но все это совсем не то. Дом снесли, а двор... Кусок двора отчего-то остался, калитку сломали, а вот ворота едва затронули — их часть со второй, неработающей калиткой, ведущей теперь в никуда, так и осталась. Иногда я прихожу на эту улицу, и мне хочется, чтобы там был этот дом, иногда он мне снится. Снится как финальная сцена «Сталкера».

Я хочу проснуться. Господи, я хочу проснуться там.

С тех пор я жил много где. И никогда я не жил в таком месте, которое было бы мне хоть немного, хоть капельку приятно. Я не скучаю по детству — не считаю этот период жизни лучшим, оно не было ни особо счастливым, ни особо интересным. Я скучаю по дому. Я хотел бы жить в этом месте и в сорок, и в пятьдесят, и в восемьдесят лет. Я считаю, что именно так должна быть устроена человеческая жизнь, а не все эти девяти-, двенадцати-, шестнадцатиэтажки, не бесконечные клоповники, гадюшники и человеконики. Да, мое желание можно назвать скромным, непретенциозным, лузерским (хотя попробуй его исполни) — сегодня мечтают о семидесяти этажах, о великолепных видах на огни большого города, о стеклянных стенах, о квартирах, не отличимых внешне от коворкингов и креативных офисов. Да я и сам понимаю, что тот дом не предел мечтаний — ведь есть же дома без соседей, дома у моря, хорошие, красивые, комфортные частные дома. Я бы, наверное, выбрал их, а не тот дом.

Но, ей богу, я верю — история всегда циклична, — что настанет время, и придут поколения, отрицающие все эти ценности высоты, пустоты, мобильности, динамичности, коливинга, бесконечных перемен и обновлений, что люди захотят тихих улиц и дворов, захотят балконов, захотят абрикосов и вишен возле калитки, лампы над дверью и паука в углу. Перестанут расти ввысь новые вавилоны — в каждом дворе, на любом мало-мальски пустом клочке суши, — и будут уютные улицы из низких домов, будут на крышах коты и трубы. И настанет тёплый вечер, и зажжется фонарь напротив окна в спальню. И на моей улице будет праздник.

Только меня самого там не будет.